

XIII

Я один из десяти выбранных народным собранием, чтобы отправиться с запросом, почти с требованием к депутатам Парижа.

Мильер[84], Тренке, Эмбер, Курне тоже входят в число этих десяти.

К кому пойдём мы в первую очередь? Кого из депутатов атакуем первым?

В маленьком кафе, где встретились члены комиссии, мы разыскали в адресной книге адрес Ферри, – он живёт где-то на улице Сент-Оноре.

– К Ферри!.. Вы, Вентра, из его округа, вы и будете с ним говорить.

Безмолвный, степенный дом, просторный вход, пышная лестница.

Я поднимаюсь с таким волнением, как будто взбираюсь по ступенькам эшафота.

– Здесь...

На наш звонок выходит горничная.

– Дома господин Жюль Ферри?[85]

– Да, дома.

Ноги мои дрожат. Я белее фартука служанки, который, впрочем... не отличается особенной белизной.

– Как прикажете доложить?

Мы переглядываемся. Ни один из нас не пришел лично от себя; но, с другой стороны, мы не выступаем как представители какого-нибудь признанного комитета или определенного республиканского общества.

– Скажите, что пришли люди из шестого[86] и желают что-то сообщить.

– Из шестого? У нас нет шестого этажа!

Объясняем... не без труда. Девушка чего-то боится.

– Плевать я хочу! Мы пришли и не уйдем! – заявляет Тренке и прислоняется к стене, как часовой.

Появляется буржуа в коротеньком пиджаке с вытянутой физиономией.

– Что вам угодно, господа?.. – произносит он, обращая на нас свой мрачный, – и какой еще мрачный! – взгляд.

Голос его слегка дрожит, также и руки.

Короткое молчание.

Надо начинать!

– Вам, конечно, известно, милостивый государь, письмо господина де Кератри, где он предлагает всем депутатам в ответ на декрет об отсрочке открытия Палаты[87] явиться к Бурбонскому дворцу в день и час, когда согласно закону должна была открыться сессия. Народное собрание постановило потребовать от представителей Парижа, чтобы они категорически высказались по этому поводу, и поручило нам добиться их присутствия на заседании, где народ выразит свою волю... Вы придете?

Руки его продолжают дрожать; такой широкоплечий и как будто решительный с виду, он, по-видимому, в замешательстве.

– Я не отказываюсь. Но я должен посоветоваться со своими коллегами. Я поступлю так, как они.

– Мы передадим ваши слова кому следует, – провозгласил я тоном сентябриста[88].

Мы поклонились и вышли.

Теперь на площадь Мадлен.

– Можно видеть господина Жюля Симона?

– Войдите, господа.

Вот он, знаменитый чердак.

Многого о нем не скажешь. Это, конечно, не крысиная нора, но далеко и не дворец, запрятанный под крышу.

У Симона вкрадчивые, кошачьи движения, жесты священника, он закатывает глаза, как святая Тереза в истерическом припадке, на языке у него елей, кожа лоснится, губы сморщены, как гузка рождественского гуся. Он узнает меня и идет навстречу, протягивая пухлые потные пальцы.

– Мой бывший и уважаемый соперник...

Я заложил руки за спину и отошел в сторону, предоставив другим опросить этого субъекта.

Как и Ферри, он отвечает что-то неопределенное – он, мол, тоже явится, если так решит его группа.

На лестнице обсуждается мой отказ от рукопожатия.

Мильер возмущается. В качестве старшего он обвиняет меня в том, что я наношу оскорбления из личного самолюбия, и заявляет, что не потерпит, чтобы следующие посещения нарушались подобными выходками.

Он пойдет теперь к г-ну Тьеру[89], но будет «вежливым», – прибавляет он, глядя на меня.

– Будьте, чем вам угодно! Что до меня, так я оставляю за собой свободу не прикасаться к руке врага.

– Вы прекрасно поступили! – одобряет меня молодежь.

Я поступил так, как мне нравилось. Я не признаю ни за кем, даже за старшим, права распоряжаться моими рукопожатиями.

Но как не пожать лапу этому благодушному толстяку с рыжими бакенбардами, с огромным животом и раскатистым смехом, который, прежде чем я еще успел выставить клыки, жужжит мне прямо в ухо:

– А, ругатель, как поживаете? Вы можете быть довольны, что так здорово разделали нас в вашей «Улице»! Да, нечего сказать!

И, похлопывая меня по тому месту, где полагается быть брюшку, он спрашивает, что привело нас к нему.

– Итак, господа, чего же наконец хочет народ? Может быть, он прислал вас за моей головой? Так, видите ли, у меня есть одна маленькая слабость: я дорожу ею. Знаете... старая привычка...

Его слова и вся его фигура дышат добродушием[90].

У этого пальцы не дрожат, они выбивают на столе мотив песенки «Мамаша Годишон», а голова его вертится на туловище пингвина с легкостью и подвижностью колибри.

- Так вам надо знать, пойду ли я на демонстрацию двадцать шестого?..

- Двое из ваших коллег уже дали свое согласие.

- На это мне, положим, наплевать!..

- Значит, вы не придете?

- Ни в коем случае! Подставлять свою голову, не зная, как повернется дело?.. Да вы с ума сошли, мой милый!

Он смеется, и вы невольно смеетесь вместе с ним, потому что этот по крайней мере хоть не виляет.

- Если Бельвилль[91] победит, - я буду тут как тут. Но втягивать его в это дело насильно, разыгрывать Брута... нет, дети мои, это не для меня! Я ни во что не впутываюсь, не даю никаких обещаний. Нет, нет!

И он щелкает ногтем по зубам.

- Все вы кажетесь мне добрыми малыми и достаточно убежденными для того, чтобы дать разбить себе башку. Я, конечно, преклоняюсь перед такими головушками, но свою прячу подальше... Да! кстати, ругатель, вы мне приписали фразу: «Манюэль[92] был героем, но он не был переизбран». Я этого не говорил, но действительно так думаю... Ну, до свидания! Честное слово, можно подумать, что вы все только и мечтаете о том, как бы поскорее отправиться на тот свет. А я вот цепляюсь за жизнь, - таков уж мой вкус! Да оно и понятно, черт возьми: вы - тощие, я - тучный... Осторожно, там ступеньки! Да, послушайте: если вас упрячут в тюрьму, я принесу вам сигар и бургонского. И какого еще!

Он свешивается через перила и посылает нам всей пятерней звонкий, многообещающий поцелуй.

Пельтан[93]. Голова апостола.

Он и в самом деле пророчествовал. Это - начетчик революции, бородатый миссионер, пропагандирующий республиканскую веру; у него манеры, взгляд и жесты капуцина, члена Лиги[94]. С кропильницей Шабо[95] в руках он изгонял беса из июньских инсургентов и отлучал их через решетки подвала Тюильри. Одержимый, - он вполне искренне считал их мерзавцами и продажными.

Что-то скажет он нам?

Ничего особенного... он тоже должен посоветоваться со своими коллегами. И он простер к нам свои волосатые руки, как бы благословляя нас.

- Аминь! - протянул, гнусавя, Эмбер.

Наш обход окончен.

А Гамбетта?

Гамбетта придумал ангину; он прибегает к ней всякий раз, когда опасно высказывать свое мнение.

Меня не проведешь этим трюком, я знаю, под чью он пляшет дудку.

Но рискованную игру ведут те, кто насмехается над народом. Сейчас у них ангина так, в шутку, но настанет день, когда им перережут горло всерьез.

Жюль Фавр[96] разорвал наше требование, даже не читая, и его толстые губы скривились в гримасу величайшего презрения.

Видел ли Мильер Тьера? - Не знаю. Во всяком случае, если он его и встретил, то не нахлобучил ему на уши его серую шляпу, - уж это наверно!

Бансель[97] в отъезде, в провинции.

Явятся ли они?

Зал Бьет, бульвар Клиши

Они явились.

По расшатанной лестнице поднялись они в залу с голыми стенами, освещенную коптящими лампами и уставленную вместо кресел старыми школьными скамьями.

В глубине, на подмостках, сооруженных из толстых побеленных досок, поставили стол и несколько соломенных табуреток.

Там народные представители будут сидеть, как на скамье подсудимых; с этой плохо обтесанной трибуны совесть предместий голосом нескольких деклассированных, одетых в пальто или куртки, произнесет свое обвинение и будет поддерживать его перед судом, -

судом из пятисот или шестисот человек, чей приговор хотя и не будет иметь силы закона, не станет от этого менее грозным для тех, кого он покарает: перст народа заклеяет их.

Я стою в группе, где страстно разглагольствуют и жестикулируют.

Обсуждают, кого бы предложить аудитории в качестве председателя.

Жермен Касс[98] интригует, упрасивает, бегаёт взад и вперед, – старается быть на виду...

Мильер надел свою самую широкополую шляпу и похож в ней на квакера. С напряженным, горящим под очками взглядом, с сжатыми губами и нервными жестами, он требует для себя этого отличия из уважения к его прошлому и возрасту и обещает, – при этом он жуёт слова, как члены секты аиссуа[99] жуёт стекло, – быть Фукие-Тенвиллем[100] собрания.

Решено предложить его кандидатуру. Вожакам даются соответствующие указания. Один только Касс плачется и ворчит; он охотно вцепился бы зубами в икры Мильера, если бы только посмел. Но какой-то кузнец, услышав, как он скулит, быстро усмиряет его; он затихает и забивается в угол с оскаленной пастью, но с поджатым хвостом.

Вот и они!

Ферри, Симон, Бансель, Пельтан.

Их появление встречают ропотом. Они сразу должны догадаться, что попали во вражеский лагерь. Едва сторонятся, чтобы дать им пройти.

Где они, эти трубачи и офицеры, эти фанфары и этот кортеж, которые обычно сопровождают председателя Палаты; где они, эти швейцары в черном, с серебряной цепью на груди?

Здесь только плохо одетые люди.

Среди собравшихся депутаты Парижа могут заметить социалистов, уже выступавших на публичных собраниях; сейчас они, бледные и решительные, обдумывают обвинительные речи, которые произнесут от имени суверенного народа.

– Мильер, Мильер!

Он готов, и ему остается только сделать один шаг, чтобы занять место за зеленым столом.

– Вы будете выступать, Вентра?

– Нет.

